



Виктор Финкель

ЭНЗЕРО



Виктор Финкель

ЭНЗЕРО

БОСТОН • 2025 • ЧИКАГО

ВИКТОР ФИНКЕЛЬ

ЭНЗЕРО

Научно-фантастическая повесть

Четвертое издание, переработанное

Редактор Юлия Тимошенко

Viktor Finkel

ENZERO

Science Fiction Novel

Fourth Edition, Revised

Edited by Yulia Timoshenko

Copyright © 2025 by Viktor Finkel

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-960533-80-7

Публиковалась:

под названием «Водопад смерти», — Филадельфия, 1998;

под названием «Энзеро» в книге «Любовь и сталь», — Филадельфия, 2012;

под названием «Энзеро» в книге «Любовь и сталь» / Изд. вт. — Филадельфия, 2015.

Published by M•Graphics | Boston, MA

☐ www.mgraphics-books.com

✉ mgraphics.books@gmail.com

Cover Design by Larisa Studinskaya

Author's photo by Michael Polyakov

Book Design by Bagriy & Company | Chicago, IL

☐ www.bagriycompany.com

✉ printbookru@gmail.com

Printed in the United States of America

Сердечно благодарю:

Анну Макарову

Михаила Полякова

Татьяну Полякову

Михаила Финкеля

Даниила Финкеля

за помощъ при подготовке книги к печати

СОДЕРЖАНИЕ

Будни города Ямова	11
------------------------------	----

Год спустя

День первый. Воскресенье.	120
День второй. Понедельник	132
День третий. Вторник	138
День четвёртый. Среда.	146
День пятый. Четверг	154
День шестой. Пятница	171

Молох уничтожал. Его хищная и ненасытная пасть пожирала всё, возвышавшееся над землёй. Его скрежещущий наждак стирал с лица планеты один город за другим, заглушая вопли и стелания миллионов гибнущих и исчезающих людей. И не было силы, способной остановить его... Ещё немного — и вгрызётся яростное чудище в самую плоть и сердцевину дрожащей и рыдающей от страха планеты, изорвёт, расколёт её своими клыками-клиньями. И закувыркаются безжизненные обломки в космосе...

И воцарился над Землёю ужас...

*Как мелки с жизнью нашей споры.
Как крупно то, что против нас!*

Райнер Мария Рильке

*Глаза мои к трещине мира
прильнули
так близко,
что можно вовнутрь заглянуть
мирозданья.*

Эрика Буркард

БУДНИ ГОРОДА ЯМОВА

*Когда судьба по следу шла за нами.
Как сумасшедший с бритвою в руке.*

Арсений Тарковский

Ямов открылся как-то сразу, когда на пологих невысоких холмах слева побежали стандартные пятиэтажные коробки Северного, а ниже, поближе к железнодорожному вокзалу, замелькали кибитки цыган и случайно разбросанные путейские домишки. Потом проскочили над мостом, казалось, вросшим в землю и прижавшим к полосе асфальта редкие машины, ползшие едва ли не по-пластунски в густом утреннем тумане с включёнными фарами. Справа промелькнули спортивные площадки, похоже, военного училища, и поезд остановился у старинного одноэтажного вокзала, который как раз сейчас, видимо, достраивали, и стоял он в несовременных деревянных лесах, кое-как сколоченных и серых каких-то. Чуть подальше высился пакхауз явно дореволюционных времён — там их с женой и встречали...

Город, а уж если откровенно — городок, производил странное впечатление. Вроде и дома четырёх-пятиэтажные встречались, и посадки деревьев были старые, и улицы асфальтированы. Но не было у него лица своего — серый весь. Как будто вуаль какая-то была накинута на него, то ли из-за тумана, то ли из-за грязи, выплёскивавшейся с обочинного безасфальтия, то ли из-за лиц — однотипно и безучастно безразличных в утренней спешке. В современных новостройках других городов глаз обычно радостно вырывал, обхаживал и поглаживал сто- и двухсотлетние дома. Здесь же их было немало, но они

не радовали. Наверное, потому что были не экзотикой, а бытом, не изюминкой, а монолитом, где как раз современное-то было включением в старом, почерневшем от времени и бесхозяйственности кирпичном массиве с безвкусным железным витьём, там и здесь поддерживавшим проржавевшие козырьки над старомодно-провинциальными подъездами давно ушедших времён дворянского собрания, купечества и губернаторства.

А потом было здание индустриального университета о двух осевших в землю этажах, не очаровательное в старости своей, а допотопное, доисторическое, архаическое, пожалуй. И выходили из него несколько групп студентов с лопатами—шли на какую-то стройку. Невольно сравнил Борис их со своими сибиряками, и вышло не в пользу ямовцев. Но как всегда, разум и сердце в нём тащили в разные стороны и рациональное, как едва ли не у всякого человека двадцатого века, осилило и на этот раз. А потому вместо петровского «Здесь будет город заложен!», посмеявшись над собой, весело прошептал: «Построю кафедру, всё равно построю!»

И построил. Да так быстро, что и сам от себя этого не ожидал. Помогло, как ни странно, научное безлюдье. Поэтому в долго пустовавшее здание ехать никто не хотел—амбиции и научная необходимость не толкали. Борис же думал недолго, и как только глубокой осенью возможность представилась, оккупировал огромные совершенно разрушенные и нетопленные хоромы о тысячу квадратных метров. До него там ночевали лишь местные пьяницы да бездомные. Отсутствие же докторов помогло и молодёжь найти. Негде и не у кого было в Ямове учиться, и ехали молодые инженеры в Москву бить челом в аспирантуру. Сразу же объявились трое симпатичных ребят и одна славная девушка, готовые попробовать под его крылом пробиться в науку. Приехали несколько его бывших учеников из Сибири—благо дал им ректорат временное жильё в общежитии. И дело пошло. Начали со стройки—заведующий лаборатории попался с фонтанирующим характером и энергией. За месяц-другой организовал прокладку электросетей и канализации. Вертелся Борис вместе со всеми, и когда, через несколько месяцев, пришли профессиональные строители, кафедра уже жила: сооружала самодельные сварные столы, строила установки для скоростных испытаний, добывала микроскопы и рентгеновские аппараты. Всё оборудование постоянно пере-

таскивалось из одной комнаты в другую, синхронно с капитальной стройкой, и не было не только покоя, но и места какого-нибудь обжитого. Сквозняки и сырость гуляли по строительному кавардаку; болели все поочерёдно и одновременно, но настроение было весёлое, и огонь на кафедре не гас до полуночи.

За полгода, не более, ямовский феникс родился, да такой яркий, красивый, что радоваться не уставал Борис и домой ходил только на ночлег. А с нового учебного года набрал целую группу на несуществующую физику металлов, да сразу на второй курс. Лекции стал им читать и натаскивать вместе с аспирантами на лабораторную поисковую работу. Не умели они ничего, и сил этот фабзауч требовал бесконечных. Но дело пошло, и первые статьи наконец были отправлены в солидные журналы.

А потом, обжившись, взялся за оформление кафедры — вид ей хотелось придать праздничный и красивый — чтоб людям на ней жилось лучше, чем дома, чтоб на работу тянулись. Полированную древесину добыли, и занялся Борис подбором картин разных, чтоб заказать чеканку. Через два года не узнать было первого этажа. А тут ещё спасти решил сотрудников от сквозняков, и стеклянную стенку соорудили, буквами металлическими на ней кафедру обозначили. И вовсе воспарили. Потом черед гостей подросла — министры, замы их, начальники главков разные — и не перечислишь всех. Водили их областные вожди при осмотре достопримечательностей ямовских. Нравилось всем, и ребята на кафедре были довольны собой, да и Борис радоваться не уставал. А потом и защиты пошли одна за другой, и кафедра превращалась из провинциального нувориша, выскочки и самозванца в признанную требовательными столичными докторами фирму. Борис и вовсе обмяк и осторожность терять стал — всё, что хотел, — то сделал.

Тут-то оно и началось... Да так постепенно и незаметно, исподволь как-то... Да хоть бы с одной стороны какой. А то ведь, как говорят врачи, генерально. В институте поползли слухи, сплетни, одна нелепее другой... Ректорат начал быстро перестраиваться и ходу этим самым сплетням давать, да сам их и разжигал. Незащищён ещё Борис был сибирской своей природой, а потому переживал и поначалу даже протестовал, если выпадал случай. А только привыкать стал, и стену китайскую

соорудил в своём сердце, чтоб боли меньше чувствовать,— другое пришло...

Борис плохо переносил сельскую жизнь и не любил её. Иное дело — небольшой городок. Папиллярный отпечаток пальца времени, пусть невнятный, придавал недавнему почти районному центру цивилизованный оттенок, но не расплющивал сельской зелени, чистого воздуха и этой маленькой и незащищённой речки. Местные руководители, при всей ограниченности своей, были частью сельского мира и любили его. А может, любили скорее себя и своё привычное черноземье. Только «сполняя» любые, самые чудовищные приказы, от одного они отодвинулись — юг города не загадили. Залив кровушкой всю ямовщину и выплёскивая её от случая к случаю не один и не два раза, не решились тронуть лесистое и воздушное приречье Цыны. Разве что в этом одном пофрондёрствовали. И на том спасибо. И сейчас, пружинисто шагая по набережной, Борис не обращал внимания на шеренги деревянных двухсотлетних домишек Державинской поры — неряшливых, почерневших, тоскливых. А уж что было во дворах да в комнатухах с проваленными и накренившимися полами... Но то было внутри. А снаружи море зелени чередовалось с зеркальной гладью озёр, оставшихся от разлива, и вьющейся Цыны. Ужом извивающейся, а не змеей — добрая спокойная и чистая речка. Как не из мира этого, как не от мира этого... Что ей, Цыне, эти человеческие игры? А может, и совсем не человеческие они? Сумасшедшие кровавые эскадроны под красными стягами, тысячи пострелянных и порубленных ими прямо на берегу и мелководье, порушенные по всей округе церкви и чугунно-тяжёлый, смрадный и непреходящий страх в душах... Может, для того и сохранил бог Цыну, чтобы примерились люди линейкой природы да омылись чистой её водой? Смотришь, пролетят годы, и родниковая вода смоем заскорузлую кровавую кору греха, бездонного зла и дьявольского беззакония с душ и тел...

Набережная, как живая, искривилась и, оторвавшись от речки влево, обратилась в небольшой зелёный скверик перед старым кирпичным зданием пушкинских времён. На фронте неприличным ядовитым цветом топорщилось «Ямовский Индустриальный университет». Одной краски здесь пошло с ведро. И все забыли, что ещё две недели тому парадный вход был забит, и сотни студентов и преподавателей протискивались со

двора через слегка приоткрытую металлическую калитку, подныривая под натянутую поверху стальную цепь...

Слегка помахивая портфелем, раскланиваясь и улыбаясь, Борис двинулся сводчатым коридором через неплотную толпу студентов. Света, секретарша его, подошла к двери кабинета вслед за ним. В этом же порядке они прошли приёмную и зашли в кабинет. Борис положил портфель на ближайший стул и, выпрямившись, застыл... Он сначала даже не понял, что укололо его, что бросило в лёгкое удивление и тревогу. Внимательно оглядевшись, он сделал пару шагов к письменному столу и резко остановился. Посредине блестящей полированной поверхности стола лежал здоровенный ржавый топор без топорща... Аккуратно так положили, осторожно... Даже стол не поцарапан... И где они раскопали дрянь такую—одной ржавчины на нём было с миллиметр. Нехорошей ржавчины—багровой, грязной... Может, когда-то им шеи рубили да головы проламывали...

Света внимательно проследила за движениями шефа и его взглядом...

— Ч-что это?..

— Не бери в голову, Света. Так искони ямовцы угрожали негодным... Так сказать, большой кулак—я те дам да добавлю... Насквозь и даже глубже... Ну ладно...

Борис взял топор и, подбросив, как бы взвешивая, положил его в шкаф:

— Жду всех на последний инструктаж. Да, кстати, не распрстраняйся о топоре...

— Конечно, Борис Михайлович. Все уже собрались и через минуту будут у вас.

Борис верил ей. Эта совсем ещё недавно сельская девочка была личностью. Борис не лез в её жизнь, да и не знал её. Но многократно убеждался—не подставит и не подведёт. Здесь в Ямове, совсем не о многих можно было так сказать и даже подумать. Изодранные души ямовцев заставляли настораживаться его при любом самом лёгком к ним прикосновении. А иной раз и вовсе притронуться было не к чему... Что проку касаться пустоты или бездушной плоти... Пусть даже в красивой упаковке...

Несколько его аспирантов и сотрудников быстро вошли и непринуждённо расселись на стульях. Были они людьми да-

леко не глупыми. Да только судьба-искусительница попробовала их позднее на зуб всех. Кто устоял, а кто и нет... Но сегодня они были в его, Бориса, обойме и хотели думать, как он, — чистыми, идеализированными, не ямовскими штампами и бескорыстием. Ясное дело, без светлого инфантилизма большой науки не сделаешь...

— Друзья, напоминаю ситуацию. Потоки микрометеоров и плотную плазму получаем давно и надёжно. Скорости их достигают сорока километров в секунду. Кстати, самые быстрые в космосе метеоры — леониды — лишь ненамного быстрее — шестьдесят километров в секунду. Но вот количество вещества ничтожно, и частицы мелкие. Сегодня сделаем шагочек — взорвём плоскую фольгу мощным конденсатором. Как дела?

Артём — невысокий, суховатый, через несколько лет оказался в Израиле, а потом — в университете Австралии — был краток:

— Электрическая система в порядке, но зарядное устройство слабовато — конденсатор заряжается медленно.

Гаврила — самый старший из них, добротный и надёжный Гаврила, ни разу не сплеховавший и уступивший дьяволу только раз, правда, в последний, — помер от рака:

— Фольга вмонтирована в твёрдый затвор.

Семён — толковый в деле и бездушный самолюбец, пятью годами позднее предложил своему сердечному другу поменяться жёнами:

— Глубокий вакуум в норме.

Серёжа — в недалёком прошлом из комсомольских руководителей, жену Семёну так и не отдал:

— Скоростные фоторегистраторы подготовлены. Временное разрешение — десять наносекунд.

Борис поднялся:

— Ну тогда пошли.

Лаборатория разделялась прозрачной защитной перегородкой на две части. В дальней людей не было, и громоздились приборы. Были здесь и батареи конденсаторов, как серые арстанты в шеренгах, соединённые кандалами и наручниками со стволом коаксиала. И нескромные всевидящие рентгеновские аппараты. И гудящие в постоянной тревоге и неуспокоенности вакуумные насосы. И истерически вопящая, на скандально высоких тонах скоростная кинокамера... Но надо всем этим

возвышался самый главный, а значит тупой, неподвижный и непонятно что думающий конденсатор — дурной куб под потолок...

Артём, как опытная машинистка, заиграл на пульте компьютера, и, вторя ему, запрыгали сигналы на многочисленных осциллографах и побежали в гору, как лыжники к трамплину, радостно и тревожно — вот-вот сорвутся и полетят... Едва Артём успел сообщить всем, что зарядка пошла, что всё, видите ли, в норме, что энергия накачивается в чёртову прорву бездонного конденсатора, как мощный глухой взрыв потряс здание. Весь куб конденсатора взорвался и развалился, как огромный цветок с неправдоподобно блестящей начинкой — развороченными и искореженными листьями алюминиевой фольги. Правда, всё обошлось без осколков и световой вспышки. С минуту все ошалело молчали. Потом Борис оглядел всех:

— Все живы?

— Как будто...

Борис подёргал себя за ухо:

— Верю вам на слово. Похоже, у нас изо рта вырвали ложную ложку? Да вместе с зубами?

Артём поднялся из-за пульта:

— А я-то всерьёз верил, что дьявол всегда на стороне учёных, уж нашего-то брата-разрушителя, во всяком случае...

Борис, ухмыляясь, возразил:

— Он просто не понял, куда мы стреляем, — подумал, в него.

Гаврила расстроился всерьёз:

— Два месяца кошке под хвост... Всё, сегодня я напьюсь до смерти...

Сергей, казалось, ждал этого:

— Идём... Я готов умереть вместе с тобой...

Борис летел из Ленинграда на большой, но старой машине. Сидел в конце салона спиной к туалету. Подрёмывать к концу полёта стал, как вдруг уловил слабое, а потом всё нарастающее постукивание. Вялый метроном постепенно превращался в хлопающие бессистемные толчки. Пассажиры этого не слышали из-за шума винтов, а Борис, прижимаясь спиной к стенке, ощущал вибрацию телом. Сонная вялость куда и подеваться успела за одну-две минуты. Неторопливо встал и прошёл к отдыхающему пилоту на первом ряду. Ещё через минуту прошёл

в хвост бортмеханик, потом ещё один лётчик... Оказалось, сорвало обшивку на хвостовом оперении. Через двадцать минут сели в грозовой ливень и были единственным самолётом, которому из-за аварийной ситуации дали приземлиться... Остальные пошли на Украину.

Когда Борис вышел из аэропорта, ливень уже прошёл. Несколько такси были свободны, и он сел в ближайшее. Город был пуст и вымыт, насколько можно отмыть грязное Черноземье, и ему не было дела до тревоги, не улёгшейся в душе Бориса после корявого полёта. Только начал успокаиваться, как на перекрёстке из-за угла выскочил грузовик и врезался в такси. Стёкла посыпались, машины разбросало, но... Борис не пострадал. Ещё через минуту подъехала милицейская машина, и молодой кряжистый милиционер выволок из кабины грузовика невменяемого, пьяного и матерящегося шофёра. Борис пересел в другое такси. На следующем же перекрёстке — опять столкновение. Тот же милиционер, теперь свирепо матерясь сам, выдернул за волосы другого алкаша — шофёра второго грузовика.

Борис, растерянно улыбаясь, прижался к стене дома. Подошёл милиционер:

— Как вы себя чувствуете?

— Всё нормально.

— Вот так-то, жизнь, что крокодил, — сожрёт — не поперхнётся. Где живёте-то?

— Рядом — пару километров...

Милиционер удивлённо покачал головой:

— Садитесь в мою машину — довезу.

Когда Борис вошёл в свою квартиру, уже светало, и жена собирала детей в школу. Борис устало снял пальто и поставил на пол портфель:

— Не верится, что я дома. Не дорога, а полоса препятствий... Уж очень хорошо их кто-то ремонтирует... Всё, надоело, завтра — грибы.

Дрянной городишко Ямов, дрянной. А вот природа — рядом. Пятнадцать минут машиной — и лес. Хороший светлый лиственный лес. Что человеку? — машине и той хорошо! Подался на мягкую пологую обочину, взял из багажника плетёную корзину, нож проверил — и вперёд. И подосиновики, и подберёзовики... А вот на склоне канавы — желтизна какая-то. Чисто золо-

тая россыпь — лисички — мелкие, свежие, славные... С десяток белых нашёл... Когда через пару часов брёл с полной корзиной назад, забыл о бедах. Только от комаров отмахивался. Никакая обмазка, репелленты и прочая цивилизация не помогли — крепко и искренне любили его комары... Что-то привлекало их в нём... Одно спасенье — когда дома искусанный, слегка опухший, забираешься под горячий душ. Постоишь терпеливо под раскалённой струёй, постонешь — и выходишь, как не кусанный. Замечтался, задумался разве что на мгновение. Даже вздрогнул от неожиданности — навстречу шли двое необычайно широкоплечих и мрачных мужчин. Не стыковались они со светлым и праздничным лесом и настроением, не совпадали... Первый грубовато пробасил:

— Мужик, зачем тебе грибы, подарил бы...

Борис усмехнулся:

— Рад бы, да жена заругает...

Огромная рука внезапно появившегося сзади третьего грубо схватила плечо Бориса у самой шеи, так что палец начал нажимать на впадину у основания гортани. «Э-э-э, — подумал Борис, — да вы, ребята, всерьёз! Вам не грибы нужны!» И не стало головы, пропали мысли, чувства... Заработали тело и рефлекс, и двадцатилетний опыт покатился своей наезженной жестокой дорогой, не спрашивая его, не советуясь с ним и даже, может, не считаясь с ним. Борисово тело спружинило, присело, правая рука Бориса описала дугу поверх руки третьего, сбивая её с горла. При обратном движении локоть вмазал по челюсти, и кулак гирей припечатал пах. Третий вскрикнул, застонал и согнулся от боли. Всё как всегда — яйца на месте и с кулаком не дружат! Первый мужчина бросился вперёд. Тяжелы кулаки, тяжелы поршни, разве что не стальные, — даже дыхание перехватило. «Моих ударов не чувствует — здоров!» Борис оказался отброшенным к дереву. Так и проиграть можно... Пока мыслишки эти мелькали разные, Борисово тело ратный труд делало споро и вариант выбрало надёжный, сто раз отработанный в стенах спортивного зала. Прыжком да двумя мелкими быстрыми шажками взбежало оно ногами по телу противника и, оказавшись выше его, ударило ребордой ноги по лицу. Тот отключился сразу и рухнул уже бесчувственной тушей. Тело Борисово кошкой отпрыгнуло назад... Да и тело ли это было? Может, зверь, сидевший в нём, как и во всех нас,

проснулся и теперь жил своей звериной жизнью и радовался своей волчьей свободе... от него, Бориса... Последний мужик с выхваченной из-за спины массивной дубинкой в руке шагнул вперёд... И Борисов зверь не стал терять времени... Рысью прыгнул он вроде бы в сторону к ближайшему дереву и, пружинисто оттолкнувшись от него, в миг оказался сидящим на противнике, обхватив того ногами за талию. Левая лапа Борисова зверя ударила под подбородок, а правый кулак сверху молотом опустил на переносицу... Только и успел Борис остановить свою нелюдь, чтобы не выцарапал глаза... Успел... Подобрал корзину, собрал рассыпавшиеся грибы, подтянул брюки. Потом внимательно оглядел поле схватки... Второй и третий лежали неподвижно. Первый, зажав руками пах, постанывал с закрытыми глазами. Можно было ретироваться, не опасаясь за спину. Минут за десять добрался до машины. Но, видать, они побывали там раньше — завести двигатель не смог. Оставалось одно — голосовать. Легковушкам он был даром не нужен — рубашка разодрана, ссадина на подбородке — алкаш, да и только. А вот грузовик с зерном остановился. Сельский шофёр почувствовал родную душу под хмельком. Борис не стал его разубеждать и расположился прямо на зерне вдоль кабины. И пяти минут не прошло, как шарахнулся грузовик от идущей в лоб встречной машины. Затем стремительно возвратился влево. Корпус грузовика наклонился на правый борт, и Борис, как из катапульты, вылетел на обочину дороги... Да и сам грузовик опрокинулся, засыпав Бориса зерном. Спасибо, не раздавил... Очнулся на операционном столе. Одна рука уже была в гипсе. Во вторую... во вторую молодая и симпатичная сестра отработанными движениями привычно делала внутривенное вливание, которое и ему, и другим «дарила» сотни раз. И вдруг рука её, будто вопреки ей, под действием какой-то злой силы внезапно пошла вперёд и проколола сосуд, и, как бы продолжая это нелепое действие, большой палец нажал на поршень, и десяток граммов жидкости ушли в тело. Рука скоро почернела, но не это заботило Бориса... Как раз в этот момент почудилось ему, что в кабинете процедурном, чистом и солнечном, были они с сестрой не одни... Сознание стало уплывать, и успел только что-то невнятное промямлить, как отключился... Потом долгая коричнево-мутная и приторно сладкая какая-то пелена, из которой он пытался выбраться, да как-то ничего не по-

лучалось, и воли не хватало, и силы куда-то ушли. И голоса... Вот-вот, именно голоса. Один — женский:

— Борис Михайлович, Борис Михайлович! Борис Михайлович!

И, как бы отзываясь этому милому и безопасному голосу, он пошевелил головой и уронил её. Да неудачно как-то, вперёд. Чьи-то мягкие руки подняли её и отвели вправо на мягкую подушку, где стало удобно и покойно — понял, на грудь положили голову его. И если это успокаивало и обнадеживало, то было и другое — тревожное и неоформленное что-то, давящее на него и мешающее дышать. И потом, странный голос с дикцией говорящей машины, лишённый привычного тембра, с упрощённой и странной модуляцией и, что больше всего и беспокоило, с недружественностью какой-то, безразличной к нему и его никудышному, беспомощному состоянию разгромленного человека, точнее тела. Борис пытался разобраться, что, собственно, говорилось, но не мог и тратил последние силы на тщетные попытки эти, отчего ему становилось всё хуже и хуже.

Приступ отступил, и дохлость собственная, как ни странно, не беспокоила, оттого, верно, что не двигался да и шевелиться не собирался. Просто смотрел в окно на голубевшее небо и звёздочку, случайно высвечивавшуюся в нём. В опустошённости своей и бессилии тела чувствовал даже какую-то успокоенность и вспомнил слова давно ушедшего профессора-химика:

— В каждом возрасте есть свои прелести. В болезни — тоже!

И действительно, приступ как бы отрезал сутолоку будней и тревог и оставил душу его наедине с ослабевшим, а потому не пытавшимся диктовать телом. Вот и ликовала она, отдыхая от постоянного насилия над собой — свободная и готовая мечтать и воспарить. Он даже от восторга прикрыл глаза, хотя спать и не хотелось совсем, а когда приоткрыл их вновь — испугался — не нашёл окна, и звёздочка запропастилась куда-то. Закрыв и открыл глаза снова, забеспокоился всерьёз и потянулся к звонку:

— Не стоит, профессор, — прозвучал знакомый уже «напильниковый» голос, и Борис, вздрогнув, заметил открывшийся уголок окна, перегороженного массивным телом, более чем метровой ширины. Попытался было Борис подтянуть ноги к животу и развернуться навстречу и встретить ударом пяток,

да какое там — тело и не подумало слушаться его. И не от страха, а от бессилия, надёжно прижавшего его к матрацу.

— Ну что, профессор, — прошаркал Напильник, — успокоились? Полагаю, что у вас есть все основания для этого. Мне не с руки вступать с вами в рукопашную, и хоть вообще-то вы профессиональный драчун, не боец вы сейчас. Ну а если вам нужно это окно, берите его, — и тень отодвинулась, освободив проём и пропустив в комнату кусочек неба и звёздочку.

Все эти секунды Борис слушал и чувствовал собеседника. Слух его впитывал слова, а тело... тело и мозг ощущали нечто иное. Как будто вошли они в плотный неразрывный контакт с чем-то чужим, и хотелось отодвинуться, оторваться любой ценой. И вспомнил, как в день бракосочетания с женой в сибирском городе, одинокие и неприятные, пошли они в кафе, и подсел к ним человек с лишаем во всю голову, и как мучились они, разрываясь между безразличностью, выталкивающей их из-за стола, и деликатностью, приковывавшей к стульям. Но, как бы то ни было, этот ночной спарринг прервать он не мог и вступил в него сразу по двум каналам — словом и мыслью:

— Что, собственно, вам нужно?

— Многое, профессор, — прозвучало в ответ и аукнулось механическим толчком в печени и справа в голове.

— И всё же? — повторил Борис, наивно пытаясь отодвинуться, как ему показалось, от давления справа.

— Всё очень просто — вы мешаете нам, — напильниковый тембр сменился жёстким и глуховатым басом, срезонировавшим пинком в животе и голове слева. — И было бы лучше, если бы вы осознали это и прекратили свои «творческие потуги». Другими словами, поменьше вытворяйте! Конкретно. Вы должны немедленно прекратить вашу научную работу и покинуть Ямов — тогда благополучно умрёт и ваш коллектив — это ведь будет тело без головы!

Последние фразы Борис воспринимал тоже дублетом, но теперь уже безболезненным. Просто ощутил голос не только снаружи, но и внутри себя, и это успокоило его. Толчки те, видимо, были от непривычки слушать ночного собеседника. А тот продолжал:

— Я не уполномочен быть с вами откровенным. Скажу лишь, что я не представитель мафии, и претензии наши к вам с уголовным мирком Ямова никак не связаны. Суть в том, что вы

заняты разрушением, и это нужно прекратить, безотносительно к тому, нравится вам это или нет. И горе вам, если вы вздумаете пропустить сказанное здесь и сейчас мимо ушей!

Какое там мимо ушей! Борису казалось, что слушал и слышал он собеседника всеми частями тела одновременно, даже ногтями и пятками. Мало того, слова эти гудели у него в мозгу ещё несколько минут после их акустического затухания в воздухе. А потом случилось и вовсе удивительное—собеседник его замолчал. А в мозгу Бориса отчётливо печатал телетайп. Слова, напряжённые, шли нескончаемой чередой, заполняя его тревогой и неуверенностью:

— Вам мало событий прошедших недель? Вам мало кромки беды, у которой вы были в самолёте? Вы хотите репете? Вы не делаете выводы и из автомобильных катастроф, и из сегоднешнего укола?

Напильник нажимал на его слух и мозг снаружи и изнутри:

— И не пыжьтесь от собственного достоинства заведующего кафедрой, профессора, доктора и прочего. Мы видали и не таких, и в том числе и в вашей научной полосе. Вы ведь внимательно следите за научной периодикой, не так ли? Разве вы не заметили спада в числе работ по физике разрушения за последние годы? Спада, обратите внимание, происшедшего во всём мире!

Борис вздрогнул—он это хорошо знал. Неоднократно говорил об этом известным теоретикам, и хотя те успокоили его, частенько размышлял на этот предмет и решительно ничего не понимал. И когда из тёмного угла раздалось:

— Что, начали вспоминать?—вздрогнул ещё раз. Собеседник был непрост и, видимо, чувствовал его глубже, чем это Борису хотелось бы. Подтверждение, дублировавшее его сомнения, не заставило себя ждать:

— Возьмём, например, классические публикации по основополагающим исследованиям атомных механизмов разрушения. Все они вышли между пятидесятыми-шестидесятыми годами. Это и Мотт, и Коттрелл, и Стро, и Рожанский, и Гилман, и Инденбом, и Орлов. Потом тоже были работы, но всплеска подобного уже никогда не повторилось. Отчего бы это?

Если бы Борис знал, отчего. Не более года назад на Харьковской школе спросил он об этом Бау—такой была дружеская форма обращения к одному умнице из их полосы. Тот сначала

удивился, а потом убеждённо как-то ответил: «Да ведь все физики эти заняты практическими случаями разрушений». А собеседник его, вроде бы услышав молчаливые мысли его, сразу же подхватил:

— Отчасти ваш Бау прав—действительно многие из разрушения ушли. Ну вот, например, Гилман. Вы его воспринимаете как разрушенца, а американцы, знающие его, пожалуй, получше, считают его крупным специалистом по композитам. А сейчас он и вовсе аморфными металлами занялся. Да что Гилман! Возьмите отправную фигуру разрушения—англичанина Гриффитса. Начал он с трещин, а стал, в конце концов, авиаконструктором. Да и вообще, много ли физиков занимаются вашими трещинами? Из крупных и вовсе единицы. Ну вот, скажем, Невилл Френсис Мотт. Действительно фигура! Но у него лишь считанные, правда, классические работы по разрушению. И всё! А где же весь научный и интеллектуальный потенциал сэра Мотта? Он и физик, и издатель, и писатель. Он занимался и волновой механикой, и теорией атомных столкновений, и электронными процессами в ионных кристаллах, и проблемами вооружений. А членом каких только научных обществ он не являлся и не является! В их числе упомяну лишь Американскую академию искусств и ремёсел. Итак, выдающийся сэр Мотт есть и активно работает, но... не по разрушению!!! Вот так-то,—самодовольно добавил он. А помолчав с минуту, пока Борис пытался вникнуть в сказанное и примерить к себе и своим коллегам, продолжил:—Да, конечно, есть и физики, но всё же преобладают механики, и именно они задают во всей проблеме разрушения основной тон. Ну, вот назову вам легендарную фигуру американца Георга Рэнкина Ирвина. По существу, механика разрушения началась именно с него. Кто он—физик? Формально да! Работал профессором физики Кнокс-колледжа в Галлесбурге, что в Иллинойсе, физиком в национальной исследовательской лаборатории в Вашингтоне, профессором Лихайского университета в Бетлехеме. Он и член Американского физического общества. Но посмотрите на его публикации. Именно на те, которые принесли ему мировую славу. Это ведь исследования полей напряжений в окрестностях трещин. И направлены они на сугубо прикладные вопросы, например, на разработку новых бронематериалов и современной баллистической техники. А вот другая фигура—Крэггс из Австра-

лии. Да что там, перечень механиков и прочих преуспевающих был бы бесконечным. Почему бы это — физиков мало, и они постепенно уходят, а механиками пруд пруди и ещё больше становится? Да и процветают они.

Борис боялся понять его. Всей душою, отталкивая от себя прозрачный смысл сказанного, ловя себя на трусливом желании закрыть глаза и уши. Потом, найдя, как ему показалось, какую-то точку опоры, робко возразил:

— Но ведь дело не в желании людей, а в потребностях развивающихся индустриальных обществ вложить научный потенциал во внедрение, в реальную отдачу!

— Ерунда, вы отлично знаете, что без хорошей теории технология быстро съест запас знаний и обанкротится. И государства мира это хорошо понимают. Нет, я не дам вам возможности увильнуть от ответа! Можете не произносить его вслух — скажите хоть себе самому: не случайность всё это. А я подтверждаю! Вот она, правда: мы считаем физику разрушения наукой вредной и опасной. И потому принимаем свои средства её удушения с тех пор, как осознали её значимость. Потому и уходят физики из этой отрасли. Потому и работ становится меньше. А если по каким-то причинам физика вытеснить не удаётся, мы распыляем его внимание или отвлекаем его, как в случае с Моттом, или перебрасываем в другую отрасль, как, например, Гриффитса. Что касается механиков, то они нам неопасны...

Со словами этими он утих, и когда Борис спустя пару минут оторвался от грустных своих размышлений и поднял глаза, комната была пуста медицинской чистотою побеленных голых и бездушных стен, и окно светилося ясной голубизною, смывающей недавнее, как дурной сон. А может, и вправду сон — бредовый, ошеломляющий?

Как при колючем свете сон разъят...

.....

*Увидел Точку, лившую такой
Острейший свет, что вынести нет мочи
Глазам, ожжённым этой остротой.*

Данте Алигьери

Болеть не любил. Выбрался из больницы через пару дней и просиживал с аспирантами теперь допоздна, навёрстывая потерянное время. Загипсованная рука на переязи не мешала. При случае такой дубинкой и воспользоваться можно было... Вышли из дверей университета в одиннадцать вечера и разошлись. Провинция — она и есть провинция — тишь, что в душах, что на улицах. Борис неторопливо брёл, наслаждаясь покоем темноты и тишины. Сверху раздался шум распахивающегося окна и бьющегося стекла. Прямо перед лицом Бориса промелькнул и разбился вдребезги лист стекла. Больной-больной, а реакция зверя была шустрой — отскочил в сторону, как ветром сдуло... Брызнувшие осколки всё же поцарапали кисть загипсованной руки. Смотри ты, попало в ту же точку. Теперь и вверх посмотреть можно. Конечно, никого нет... Ясное дело, никого... Само, видите ли, упало...

День наконец-то иссяк, и блёкло вместе с ним в душе. От радужного утра, солнечного, едва затенённого лёгкими облачками дня ничего не оставалось, и начинался фиолетовый, а позднее серый и чёрный мир глубокой ночи. Та абсолютно поглощающая и беспросветная мгла, о которой шутил давно позабытый фильм: всех впускать, никого не выпускать. Тогда Борис потушил свет и лёг, не раздеваясь, на застеленную кровать с тёплой и хрупкой надеждой забыться. Сначала погасил сознание, потом расслабил правую ногу, левую, пошевелил ру-

кой, о которой никак не мог забыть, и успокоился. Туманная пелена медленно и, казалось, надёжно укрыла его. Но это лишь казалось...

На этот раз собеседник, контуры которого быстро размывались и фокусировались вновь, но никогда не проявлялись контрастно, что-то вроде прохожего за сто метров в большом сибирском городе при свете фонарей, тускло пробивающихся сквозь густой и непреходящий смог от металлургического завода, не заставил себя ждать. Это была странная, пурпурно яркая, близкая и ощутимая явь сна, когда одновременно не сомневаешься в реальности, как и в иллюзорности ощущения. Когда чувствуешь плоть живого языка мысли и тела и твёрдо знаешь, что мгновение спустя исчезнет всё, и очутишься на берегу ушедшего миража сна. И всё же... И всё же это было нечто большее. Мысли собеседников сплетались, как тугие канаты, испытывая друг друга на прочность, и, не разорвав, сплетались вновь, чтобы мгновение спустя повторить то же самое, но в других сочетаниях. Бесконечные узлы создавались и рассыпались быстро под стаккато речи—понятной и неясной одновременно. Да и неважно, была ли она—эта речь—тень и проекция яростно сражающихся и оттого, как ни странно, ликующих мыслей. Истрадавшихся в одиночестве, истосковавшихся в непонимании, изболевшихся в невысказанности и самоистязании.

Он был не груб и прямолинеен, как его предшественник неделей раньше. Пожалуй, он попросту глумился. И это вызвало горечь, а минутами и гнев—позиции-то в споре были неравны—он знал всё в Борисе, все срезы и подтексты мышления, инстинкты, в которых Борис не признавался самому себе, стыдился их, понимая, что роднят они с животным, пусть цивилизованным, но животным. Он же и не думал жалеть, скорей наоборот—приплясывал, педалировал болевые точки, странно похохатывая при этом, явно радуясь возможности восторжествовать любой ценой:

—Боль... Не слишком ли вы упиваетесь ею? Или полагаете себя исключением? Или надеетесь на свои профессиональные знания физика и ваши жалкие научные степени и звания? Да, вы приятны. Но именно поэтому вы будете несчастны! И не поняты! И ошельмованы! А может, и растерзаны!—тут он радостно искажил свои формы так, что нечто пусть не стабильное, но всё же монолитное доселе, разбилось на множество по-

лос и взаимно сместилось, разбегаясь в стороны. Казалось, что это — «растерзаны» — он хотел изобразить не только словом, но и образом своим, и это ему явно удалось. Настолько, что Борис почувствовал, как внутреннее и не подчиняющееся ему усилие попыталось разодрать его плоть. И было это чувство настолько сильным и всеобъемлющим, что боль, да, обычная физическая боль залила его, едва не затмив всё вокруг вместе с неосторожным собеседником. Тот же, видимо, поняв, что перехватил и, испугавшись за Бориса, внезапно стабилизировался, а затем и собрался в нечто единое, правда, нечёткое и пульсирующее. Умудрившись при этом улыбнуться — один бог знает, чем он это выразил, — сделал извиняющийся какой-то реверанс и перешёл к истории:

— Не кажется ли вам случайным нескончаемый черёд бед с наиболее заметными особями землян за всю их обозримую историю? Ведь совсем не началось всё с Христа — он лишь реперная точка мышления вашего, кровавой и, как вам кажется, бессмысленной истории землян, — но всё же всеми признаваемое начало отсчёта. Так вот, вспомните судьбу его и плачевный финал — предан и распят! Вы думаете сейчас — дело в Иуде, Понтии Пилате?.. — и тут его передёрнуло, даже вывернуло наизнанку, стал он мгновенно поразительно велик, облаком каким-то беспредельным. Борису почудилось, что это состояние означало гневливое возмущение, и он даже устыдился мыслей этих своих, таких простых и близких каждому, о преданном добре и торжествующем зле. Тот же, совладав с собой и, видимо, стыдясь вспышки, вернулся к образу своему, размытому тенями и полутонами, но всё же обозримому и приемлемому:

— Вы плохо знаете историю своей планеты. Напомню лишь людей из когорты вам знакомых. Вот ваш великий Паскаль. Прожил-то всего тридцать девять лет. Да и то, в двадцать четыре его разбил паралич.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ПАСКАЛЬ, БЛЭЗ

Французский мыслитель, математик и учёный Блэз Паскаль родился 19 июня 1623 года, умер 19 августа 1662 года. Выполнял ряд тонких работ по физике, в геометрии и других ветвях математики. Оказал глубокое влияние на теософию и философию.

— Ого! Так вы не прочь и кровушку человеческую пролить?

— Что человеческая жизнь для Космоса? Посмотрите на другого гения вашего естествознания и философии — Декарта. Не дотянул до пятидесяти четырёх. Официальный диагноз — воспаление лёгких. А на самом деле — вульгарный мышьячок-с. Взгляните, как выглядел финал.

Он взмахнул чем-то, похожим на рукав, и на стене Борисовой комнаты вспыхнул экран. Огромная средневековая комната королевского замка, сводчатый потолок и тонущие в темноте стены. На кровати под балдахином умирающий Декарт прерывающимся голосом кричит в бреду, отгоняя видения медиков-кровопускателей:

— Господа, пощадите французскую кровь!

Перед смертью очнулся на мгновенье и тихо сказал себе:

— Пора в путь, душа моя!

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ДЕКАРТ, РЭНЕ

Французский философ Рэне Декарт родился 31 марта 1596 года, умер 11 февраля 1650 года. Был одним из наиболее значительных и влиятельных мыслителей в человеческой истории, одним из основателей современной философии. На заре научной революции внёс фундаментальный вклад в философию и математику.

— Вот так-то, — продолжил пришелец, — удалось и большее. После смерти Декарта Ватикан включил все книги Декарта в индекс запрещённых книг.

— А вспомните Джордано Бруно! А не думали, почему? Подумали, вижу, подумали! Так вот, виноваты они сами. Ведь именно Паскаль говорил: «Я хотел открыть вечные законы...». Ведь это Декартовское: «Я мыслю, следовательно, существую!» Ведь это Джордано Бруно: «Существует бесконечная вселенная, бесконечное множество миров».

— Да, вы правы, Ньютон прожил долгую жизнь, даже по вашим нынешним меркам, но он не был опасен!

Борис встрепенулся, как ему показалось, замахал руками, судорожно втянул воздух и закричал срывающимся фальцетом:

— Кому опасен? Что вы несёте?

— Вы всё ещё не поняли? Конечно, нам! — и повторил сначала самодовольно и торжествующе, а потом всё увереннее, будничнее и, пожалуй, вкрадчивее и даже доверительней как-то:

— Нам, нам, нам! Посудите сами. Мог ли быть нам опасен механистически мыслящий Ньютон? Да и активно работать как учёный-поисковик он кончил очень рано. Иное дело ваш Максвелл! — тут он вздохнул, развёл рыхлыми образами конечностей и выразил тем уважение, совсем было искреннее, если бы не глумливая ухмылка, остроугольным треугольником перерезавшая его размазанный лик. — Да-да, Максвелл ваш был поистине великим интеллектуалом, даже по нашим меркам. Но всё же он был теоретиком и в таком качестве во вторую половину беспомощного XIX века прямо угрожать нам не мог. Поэтому и убран был в сорок восемь лет. Смею уверить вас, для этого пришлось Сенату нашему горячиться в спорах, сотрудникам изрядно попотеть — имплантация злокачественной опухоли была проведена безупречно, да и легенда этого заболевания с генетическим наследственным привкусом оказалась с достаточностью очевидна для вашей научной общественности. Смотрите и убеждайтесь.

На стене появилась комната XIX века. На кровати — измождённый Максвелл. В дальнем углу два человека тихо разговаривают. Врач скорбно произнёс:

— Великий Максвелл уходит...

Родственник Максвелла кивнул:

— Он с точностью повторяет судьбу своей матушки... Рак и Рок в сорок восемь лет...

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

МАКСВЕЛЛ, ДЖЕЙМС КЛЭРК

Шотландский физик Джеймс Клэрк Максвелл родился 13 ноября 1831 года, умер 5 ноября 1879 года. Выполнял революционные работы в электромагнетизме и кинетической теории газов.

— Э-э... да ваши руки в крови по локти!

Борис холодел — слышанное было чересчур страшным, чтобы с ним можно было смириться, но и спорить он не мог, в конце-то концов, экскурс в глубины истории физики и её персоналии был не действием, а лишь отображением того страшного и беспощад-

ного, прикоснувшегося к нему и почему-то бесстыдно и цинично искреннего с ним. Почему с ним? Почему?

Впрочем, так бывало с ним нередко. Закрепощенность какая-то и робость перед обнажённым демоническим злом и по эту сторону. Может быть, не так далеко он заходил, как его добрейший друг, признававшийся порой в неспособности своей сказать нагло и бесцеремонно врущему в лицо и упивающемуся этим: «Трепleshь, братец», — но всё же не находил сил в себе сейчас, и это удручало его. В драке куда как проще... Его зверь всегда знал, что делать, как только возникала физическая опасность... Сейчас же её не было, и когти его были втянуты... А воздух меж тем в непроветренной комнате становился всё спёртее, и от всего этого Борис судорожно дышал, беспомощно дёргал губами и тяготился в тоске и стыдливости какой-то от своего соучастия, пусть молчаливого, но всё же соучастия в происшедшем сотни лет назад и теперь не поправимом. А тот, понимая, видимо, смуту и неуверенность в душе его, и не думал останавливаться:

— Но если с Максвеллом мы тянули до сорока восьми, то с его последователем Герцем всё было решено намного ранее. Этот умник перевёл слова шотландца в дело и тем создал коммуникационную основу между вами и нами. В Краале переполошились, и Сенат решил немедленно — даже голосования не было. Из-за спешки убрали непрофессионально — с первым попавшимся предлогом — заражение крови — в тридцать семь лет. Взгляните.

Жена, дети, родители у постели умирающего в сознании Герца:

— Если со мной действительно что-нибудь случится, вы не должны огорчаться, но должны мною гордиться...

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ГЕРЦ, ГЕНРИХ РУДОЛЬФ

Немецкий физик, инженер Генрих Рудольф Герц родился 22 февраля 1857 года, умер 1 января 1894 года. Первым доказал существование радиоволн.

Борис слушал напряжённо, даже губу закусил. Посматривал на Собеседника с бо-о-ольшим удивлением. Потом опустил глаза, усмехнулся и... поразился сам себе:

— Да, к большим гуманистам вас не отнесёшь! Безрадостна история физики из ваших рук. Тем не менее, не скрою, слушаю вас с интересом.

— Ого! Это шаг вперёд! Вы начинаете ловить мышей! Поощряю вас — как при всякой дрессировке — гамбургером информации...

Борис отпарировал в том же ключе:

— Смотрите-ка, сподобился! Я так скоро и мяукать начну.

— Ещё долго после этого электромагнитные волны не давали покоя нашим старцам, и проклятия неоднократно накладывались на ваших учёных. Вспомните раннюю смерть Лебедева. А ведь задолго до неё жизнь и работа для него потеряли комфортность — так мы готовили общую конъюнктуру к его предшённому уходу. Вспомните деловую неудачливость Попова... Да, мы умели пользоваться вашими слабостями, готовностью возненавидеть ближнего и иссечь его, земным пристрастием к доктринам, политическим взглядам и системам! Вашим неумением видеть корни событий и примитивным убеждением о возможности изменить природу человека. Мы знакомы с вами давно и твёрдо усвоили правило, что изменить психологию гомо сапиенс ещё труднее, чем физиологию. И никогда не строили иллюзий. И если с электромагнитными явлениями вы ушли столь далеко, то не потому, что мы хотели этого. Именно способность ваша к догматическому мышлению перевела науку человечества в массовую категорию государственного звучания, и мы в какой-то момент потеряли контроль над событиями, не усмотрели... — с горечью прозвучал он и растаял...

*О, ужас! Мы шарам катящимся подобны,
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры
Нас лихорадка бьёт,
как тот Архангел злобный,
Невидимым бичом стегающий миры.*

Шарль Бодлер

Таял снег, и радостная неустроенность в природе переплеталась с ненадёжностью и зыбкостью кафедры, построенной, насытившейся техникой и молодыми растущими людьми, выпускавшей добротную научную продукцию, но окружённой океаном глубинной недоброжелательности, мелочности и зависти. Старый крохотный городок на берегу разветвлённой и всё ещё чистой речки с неустроенными берегами славился богом забытостью своей и непреходящей отсталостью во все шесть веков своего существования. Те приезжие, которые умудрялись выдержать атмосферу духовного запустения в течение пяти лет, постепенно узнавали, что никакой интеллигенции в обычном смысле этого слова в Ямове нет. Те, которые причисляли себя к ней, в городе долго не задерживались. Нельзя было сказать, что не рождалось и не вырастало здесь умных и ярких людей. Были! И известный стране и миру министр иностранных дел, и гениальный математик, и писатель с двойной фамилией, и выдающийся физик-ядерщик, и крупный академик-прочник, и нежнейшего таланта композитор. Но не задерживались они в Ямове, будто какая-то невидимая, но не становящаяся от этого менее реальной, сила выталкивала их. Исторгал Ямов из себя не только талантливых учёных, политиков и писателей, навсегда отлучая их своим убожеством, заставляя даже в старости избегать упоминания отцовских мест, способных наложить печать если не позора, то

пренебрежения на внуков даже, источал он и мелких чиновников, постепенно перебивавшихся в Москву и достигавших иной раз немалых высот. Один из них стал даже заместителем министра! Другая—отброшенная ненавистью ямовцев за неукротимую злобность свою—устроилась в одно ритуальное учреждение в столице, но со временем была изгнана и оттуда. Каждый раз, когда речь вдруг заходила об этой женщине, знакомый говаривал: «Она исполняла свою руководящую роль на высоком уровне внутренней секреции».

Сотню раз клял себя Борис за то, что опрометчиво, по-сибирски, поехал в эту дыру. Знал ведь: не строй дом, пока не узнаешь своих соседей. И на тебе, поехал. Сказались незащищённость и наивная убеждённость, что главное—дело. Всё остальное, дескать, приложится, и труд будет оценён, и отношения человеческие установятся. И вот теперь он стоял перед тем барьером, перед которым останавливались многие из не вписавшихся и отторгнутых. Вот и сегодня. Новый ректор показал себя. Огромный амбал—посмотри издалика—стройный мужик с великолепной шевелюрой, а вблизи—со скользкими, липко-блудливыми глазами, тяжёлой челюстью, облицованной складками отвисающей кожи, со слюной, постоянно закипающей в уголках губ, с манерами и культурой профессионального уголовника. Пожалуй, и был он в институте паханом, обычным паханом. За жизнь свою этот человек не обесчестил прикосновением ни одной художественной книги, да и научной тоже. Кандидатская и докторская диссертации были организованы. А во время удручающей последней защиты, притчей во языцех, длившейся ни много ни мало двое суток, основными аргументами против наседавших оппонентов и критиков было: «Вот уж не ожидал от вас этого... Не идёт ваше выступление вам, не идёт...» Когда пришло время утверждаться на ректора в высокой инстанции, опрокинул себе на руку кислоту да и сжёг на колку вместе с кожей—полгода ходил с повязкой. А вот с груди и спины не свёл—не смог. А потому на пляж и в общую баню не ходил никогда. И вот этот-то—этот-то (!)—начал бесцеремонно давить на кафедру, стремясь разогнать людей и оскорбить его. Удивляло не то, что руководство городишки приняло его и потакало, чем могло, поражало отношение сотрудников института, смиренно клонивших выи, и тех немногих среди них, готовых по его приказу броситься и растерзать каждого,

даже вчера ещё своего. Это коллективное холуйство не имело никаких разумных пределов. Казалось, скажи он «хочу спать с твоей женой» — и уступит тот. И действительно уступали, не колеблясь, за чин доцента, за должность заведующего кафедрой, за гадливый обесчещенный покой. И это-то и поражало, хотя и знал любимую шутку ямовцев: «А знаете, чем отличается ямовский волк от обычного? — Он ещё более серый!» Появились в институте разнузданные девицы с дипломами кандидатов наук и аттестатами доцентов, прохвосты. Не скрытые какие-нибудь, а обнажённые, с откровенной печатью низости, порока и ограниченности на лицах и искренней страстью жить в складках человеческих отношений, и не было ничего, на что не пошли бы они ради подлого благополучия своего.

Каждый раз, когда Борис вспоминал ректора, ему было не по себе от собственных мыслей. Знал ведь, сложны люди, — в каждом найдёшь такую мешанину доброго и сложного, такое многоцветие... А вот с этим «монохроматическим» ничего не получалось. Мучительно искал, сознательно по мелочам просеивал поступки, жесты, даже улыбки — улыбался ведь — и не находил. И поражался тогда не амбалу, а тем, кто прислал его. Ведь нашли же, в миллионной толпе нашли, точно просчитали эту бездушную, но дееспособную и энергичную машину, этот генератор разрушения и низости. Знали, что всё сокрушит, не задумается, не поколеблется, не подведёт... И людей, гвардию свою подберёт для этого, организует её и поведёт. Невелика была группа вокруг ректора. Но спаяны были круговой порукой, и чувствовали они его своим по плоти. Только с ним и за ним, казалось, могли они существовать в высшей школе, такой чуждой им по природе своей. Сегодня на Совете они были едины, как свора некормленных и одичавших собак и, косясь глазами на председательское кресло, ловили момент, когда можно будет учинить расправу. Команда, однако, дана не была — время не настало... Обида и тоска были настолько глубокими, что разверзлись чернозём и поглотил его — он был бы рад.

Не торопясь прошёл по берегу несколько небольших кварталов и свалился, хоть не было ещё восьми.

Тот, казалось, ждал его. И весь кипел неутолённым желанием общаться, как будто в последний раз не был удовлетворён своим неоспоримым преимуществом. Должно быть, что-то мучило его, и Борису показалось странным это вначале, пока

не понял он, что хоть в прошлый раз изображал из себя молчаливую статую, но внутри был возмущён и не согласен. Тот же уловил фронду и, не сумев убедить Бориса, принимал на свой счёт этот неуспех. И вот теперь стремился к реваншу, хотя и накануне не был побеждён:

— Нам была безразлична шеренга земных квантовиков. Несравненный Планк в такой мере принадлежал старому миру, что не принял открытый им же самим новый. Блестящий экспериментатор Резерфорд находился на столь зародышевом уровне, возясь с одной-двумя элементарными частицами и ядрами, что мы не принимали его всерьёз. И сегодня вам это понятно — ведь сейчас вам известны сотни элементарных частиц. Что касается теоретиков, то они забавляли нас. Например, Нильс Бор — умница и революционер — долгое время служил нам моделью, если хотите — эталоном высококлассного земного учёного и личности. На изучении его рефлексов и системы мозговых связей было защищено двенадцать кандидатских и докторская диссертация. По настоянию наших учёных, жизнь его была сохранена. Что касается Вольфганга Паули, то он в ряде отношений был нам попросту полезен. Вспомните хотя бы, как он говорил Макс Борну: «Вы хотите подпортить физические идеи Гейзенберга вашей математикой», — и это о работах, ставших основными в квантовой механике. А знаменитый ваш Шрёдингер, построив фундаментальное уравнение квантовой физики, умудрился не согласиться сам с собой и с созданной им же наукой. Другой создатель аппарата квантовой механики Пауль Йордан в такой мере оказался политическим балдой и лопухом, что к нашему немалому удовольствию компрометировал самую идею! И всё же сказать, что мы сидели сложа руки и смотрели на ваши квантово-научные забавы, было бы неверным. Мы старались использовать открывающиеся возможности. Так было с приходом к власти фашизма в Германии. Здесь нам почти не пришлось стараться, патологические кретины — Гитлер и его окружение — остановили на тринадцать лет на всей территории континентальной Европы развитие науки.

Борис уже притерпелся к этой, видимо, бесконечной и безрадостной истории, но начинал понимать разрушительную логику собеседника и угадывать мощные силы, стоявшие за ним, да и интерес в нём пробуждался к этим теневым событи-

ям, не описанным ни в одной исторической книжке. И теперь он хотел не пропустить ничего потому, что всё больше верил своему собеседнику и смутно надеялся на его откровенность в будущем, отчего боялся спугнуть этот фонтан удивительных событий, бьющий у его ног, фонтан, брызги которого увлажняли сухость и безрадостность в мозгу его. Потому не охал и не размахивал руками, как прежде, а внимательно слушал, изредка кивая головой, когда сообщаемое совпадало хотя бы с тенью его собственных представлений. Не лицемерил он при этом, а всё сопоставлял, и казалось ему услышанное очень уж правдоподобным, если не истинным.



Виктор Финкель (1930 г. р.) живёт в Филадельфии, США. Опубликовал книги: «Поэты рубежа», «Дикинсон и Цветаева — общность поэтических душ», «Пятьдесят первая командировка», «Водопад смерти», «Любовь и сталь», «Любовь и сталь» (второе дополненное издание), «Орнамент физической лекции», «Портрет трещины» (на русском, английском, венгерском), «Мосты между американской и русской поэзиями», «Штрихи к портрету трещины», «Я люблю тебя, I», «Десант», ««Небеса небес» мои обетованные» «Мосты между американской и русской поэзиями» (второе издание), «Где суетою дух не озабочен».

Публикации в *The Emily Dickinson Journal*, *Russian Language Journal*, «Новое русское слово», «Слово/Word», «Шалом», «Заметки по еврейской истории», «7 искусств», «Кругозор», «Гостиная», «Мы здесь», «Литературный европеец», «Мосты», «Мастерская», «Зарубежные задворки», «Еврейская жизнь/община», «Навигатор», «Филадельфия», «Посредник», «Новый Континент», «Чайка».

Выступил с десятью докладами по вопросам литературоведения на всеамериканских конференциях AATSEEL (*American Association of Teachers of Slavic and East European Languages*), в том числе о творчестве Дикинсон, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака. Одним из результатов исследований явилось обнаружение связи между поэзией Эмили Дикинсон, с одной стороны, и поэзиями Анны Ахматовой и Марины Цветаевой — с другой.

ISBN 978-1-960533-80-7



9 781960 533807